Василий Осипович Ключевский

Императрица Екатерина II (1729-1796)

Василий Осипович Ключевский

Императрица Екатерина II (1729-1796)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175774
Ключевский В. О. Исторические портреты: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-28593-8

Аннотация

«Исторические портреты» известного русского историка В.О. Ключевского рисуют серию политических деятелей Российского государства XIV–XVIII вв. Воссоздание типов людей прошлого – будь то цари, общественные деятели, святые или простые люди – было для Ключевского одним из способов понять исторический процесс в целом. Историк описывает личность своих героев, как в частной, так и в общественной жизни, при этом важнейшую роль играет нравственный облик человека. Многие исторические фигуры предстают перед читателем в неожиданном ракурсе (Иван Грозный, царь Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина II), их характеристики оригинальны и часто отличаются от общепринятых. Личное отношение к каждому из них, живая манера изображения и детальное описание окружавшей их среды делают этот цикл увлекательнейшим чтением и в наше время.

Содержание

I 4
II 11
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Василий Осипович Ключевский
Императрица Екатерина II (1729–1796)

I

Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения.

В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки, в ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею. Трудно быть злопамятным на таком расстоянии, и именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать.

Царствование Екатерины II – это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются с жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое, по крайней мере после четырехлетнего перерыва было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки. Екатерину и по смерти ее восхваляли или порицали, как восхваляют или порицают живого человека, стараясь поддержать или изменить его деятельность. И Екатерины II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия – тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела в противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы и мнения боролись на ее могиле. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни.

Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, покрывает все эти споры и вражды. Наши текущие интересы не имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные, и значительные долги. Долги уплачены, и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести «свое маленькое хозяйство», как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений одни действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий, другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них непохожими ни по началам, ни по устройству; наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начала были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи воспитательных заведений Бецкого, замененная потом другим планом народного образования, над которым работала Комиссия народных училищ: гуманные идеи о воспитании, усвоенные Екатериной и Бецким, пригодились и потом, при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как, например, мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее так, как она и не мечтала и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась, а другие были упразднены самою жизнью как излишние, каковой была мысль о создании *среднего рода* людей в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в *«Наказе»* и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания и общежития, или остались общими местами, пригодными украшать досужие беседы взрослых людей или служить темами для школьных упражнений. Что касается нравов, воспитанных влиятельными примерами и общим духом екатерининского времени, то они вообще признаны неудовлетворительными, хотя и пустили глубокие корни в обществе. Вопросы того времени – для нас простые факты: мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло.

Значит, счеты потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью; для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время; оглянуться на свое прошлое, а не тревожить

старые могилы и среди похвальных слов и обличительных памфлетов осторожно пройти к простым итогам давно окончившейся деятельности.

Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старшие из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнят еще поздние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II и долго державшихся в обществе после нее. Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца: блестящий век, покрывший Россию бессмертной всесветной славой ее властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого, небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинали понимать донельзя приподнятый тон изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины II и читанного нами на школьной скамье *«Исторического похвального слова Екатерине Второй»* Карамзина, смущавшие незрелую мысль выражения его о божественной кротости и добродетели, о священном духе монархини, эти сближения с божеством, казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали славолюбие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницей, а затем оставлялись в пренебрежении, без надлежащего надзора и радения об их развитии и успехе; вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ослабление России. Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями, и она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра, в глаза говорившего ей, что она премудрее самого господа бога. Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха.

Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримою противоположностью, но и своими особенностями. Так, второй из них вызывает удивленное недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке *«О повреждении нравов в России»* князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историографа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя, не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 г., и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII в., закончив нарисованную им мрачную картину словами: «…плачевное состояние, о коем токмо должно просить бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в *«Путешествии из С.-Петербурга в Москву 1790 г.»* в главе *«Спасская Полесть»*, – злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй, патетической части сна, где грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам странницы Прямовзоры, т. е. истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно-премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине. Что еще замечательнее, к этим «печальным часовым у двух разных дверей», как назвал князя Щербатова и Радищева один позднейший писатель, присоединяется любимый внук

Екатерины, ставший потом вторым ее преемником, которого она еще в пеленках оторвала от семьи, чтобы воспитать его по своей педагогике и в своих идеях: на положение дел в государстве за последние годы жизни бабушки, которые он мог. аблюдать, он смотрел не светлее князя Щербатова и Радищева. «В наших делах, – писал он Кочубею за полгода до смерти Екатерины, – господствует неимоверный беспорядок: грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду». «Я всякий раз страдаю, – признается он в другом месте письма, – когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша». Да и сам Карамзин в записке *«О древней и новой России»*, представленной императору Александру девятью годами позднее *«Похвального слова»*, рядом с блестящими сторонами царствования Екатерины отмечает и крупные «пятна»: порчу нравов в палатах и хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерины ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII в., писанную около 1820 г. по свежим преданиям, то, и не упоминая о других, менее компетентных суждениях, современных или позднейших, можно понять характерно разнообразный состав того, что мы назвали бы противоекатерининской оппозицией.

И все же это были одинокие голоса, которые были слышны очень немногим, за исключением разве книги Радищева, раздавались шепотом, про себя или в тесном кругу и потому не могли расстраивать хорового суждения, так красноречиво выраженного в *«Похвальном слове»* Карамзина. И это суждение не совсем понятно и не столько по своему содержанию, сколько по своей возбужденности, по тому движению чувства и воображения, с которым оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный остывшей мыслью из обдуманных и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а горячее, непосредственное впечатление еще живой действительности, долго не замиравшей и по смерти лица, которое было ее душой. Такое впечатление было небывалым явлением в нашей истории: ни одно царствование, по крайней мере в XVI в., даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал последний, наиболее обобщенный результат, высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал в конце своего *«Похвального слова»*, что Россия в это деятельное царствование, «которого главною целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы они теперь воскресли, не узнали бы ее». Все это можно было сказать и о Петре Великом, даже с прибавлением, что его главною целью было еще и народное обогащение; люди времен Алексея Михайловича также не узнали бы своей старой московской *всея Руси* в созданной его сыном Российской империи с С.-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, девятимиллионным бюджетом, новыми школами и т. п. Однако даже в обществе, захваченном реформой, не в простонародной массе, незаметно такого общего весело-умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине II: слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю, а скоро, и именно в царствование Екатерины II, послышались и резкие порицания его дела.

Это впечатление, независимо от своей исторической верности, от точности, с какою отражалась в нем действительность, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии. Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II нельзя причислить к спокойным и легким временам, о которых люди вспоминают с особенным удовольствием. Напротив, это была довольно тревожная и тяжелая для народа пора. Сравнительным спокойствием Россия пользовалась в первые

пять лет царствования, если не считать серьезным нарушением спокойствия крестьянских бунтов, в которых, по счету самой Екатерины, в первый год царствования участвовало до 200 тыс. крестьян и против которых снаряжались настоящие военные экспедиции с пушками. Затем семилетний приступ внешних и внутренних тревог.1768–1774 гг.), начавшийся борьбою с польскими конфедератами, к которой вскоре присоединилась первая турецкая война, а внутри между тем – чума, московский бунт и пугачевщина. Современники, например, князь Щербатов, думали, что первая турецкая война обошлась России дороже какой-либо прежде бывшей войны. Из официальных источников известно, что только первые два года этой шестилетней войны стоили до 25 млн руб., что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. Кагульский бой был выигран 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой армии. Но в августе 1773 г. Екатерина говорила в Совете, что с 1767 г. в пять наборов собрано уже со всей империи для пополнения армии до 300 тыс. рекрутов. За миром в Кучук-Кайнарджи в 1774 г. следовало 12-летнее затишье во внешней политике: это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха законобесия (legislomanie), как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения; учреждены были комиссия народных училищ и ссудный банк, обнародованы *Устав благочиния*, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ 1786 г. и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 г. открылся второй приступ тревог, не прекращавшийся до смерти Екатерины: вторая турецкая война, тяжелая не менее первой, и в одно время с нею война шведская, две войны с Польшей перед вторым и третьим ее разделом, персидский поход, финансовый кризис, военные приготовления к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования 17 лет борьбы внешней или внутренней на 17 лет отдыха! Недаром преемник Екатерины в циркуляре, разосланном к европейским дворам по вступлении на престол, называл Россию «единственною в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение». Значит, людям, пережившим сорокалетие с 1756 г., с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения.

Правда, и результаты царствования были очень внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, все чаще оглядываясь на свою деятельность по мере ее развития. В 1781 г. граф Безбород ко представил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования: оказалось, что устроено губерний по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа – 123, итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 млн душ обоего пола, так что число жителей ее империи с 19 млн в 1762 г. возросло к 1796 г. до 36 млн, армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 69 млн, т. е. увеличилась более чем вчетверо, успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2 тыс., успехи внешней торговли балтийской – в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн до 44 млн руб., черноморской, Екатериною и созданной, – с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г., рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 млн руб., тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжение царствования увеличен был почти вшестеро и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов. Притом Екатерина оставила более 200 млн долга, что почти равнялось доходу последних 3 1/2 лет царствования.

Результаты царствования, как ни были они важны, могли давать себя чувствовать медленно, по мере своего обнаружения, ощутительнее младшим поколениям, воспринимавшим

уже сложившееся впечатление царствования, чем старшим, в которых оно складывалось; во всяком случае эти результаты могли скорее питать, чем зародить, это впечатление. Сами по себе они могли вызвать удивление, даже благоговение, какое питали к Петру I, но не восторженное обаяние.

В памяти людей, 100 лет назад оплакивавших смерть Екатерины, прежде всего выступали из прожитой дали явления, особенно сильно поразившие в свое время их воображение и чувство: Ларга, Кагул, Чесмена, Рымник и победные празднества, слезы, пролитые при чтении «Наказа», Комиссия 1767 г., торжественные собрания и речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, на которых в десятках дворцовых комнат толпилось 8540 масок, путешествие императрицы в Крым со встречавшими ее на пути иллюминациями на 50 верст в окружности, с волшебными дворцами и садами, в одну ночь созданными. Не одни Таврические сады, но и целые Новороссии вырастали из-под земли, целые флоты всплывали из-под неведомых черноморских волн в немногие годы; «монархиня повелела, и глас ее, как лира Амфионова, творит новые грады, если не великолепием, то своею пользою украшенные» (Карамзин). Недаром екатерининская Россия некоторым иностранцам-современникам представлялась волшебною страной (pays de feerie). Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро двигавшуюся ослепительную панораму, собирали рассеянные ощущения, ими вызванные, в цельное и сильное впечатление. Большинство тогда еще не знало закулисной механики всех этих семирамидиных чудес, да если бы и знало, еще неизвестно, стало ли бы думать о них иначе: впечатление любимой пьесы не ослабляется знанием того, как, с какими усилиями и жертвами она разучивается и ставится. В записках современников Екатерины, ее переживших, останавливает на себе внимание одна черта. Они знают и трезво описывают темные стороны тогдашней правительственной деятельности и общественной жизни: небрежность и злоупотребление администрации, неподготовленность и недобросовестность судей, праздность и грубость дворянства, его нелады с крестьянами, пустоту общежития, общее невежество. Но когда они отрывались от этих вседневных печально-привычных явлений своего быта и пытались обыкновенно по поводу смерти Екатерины бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении, их мысль как бы невольно, с незамечаемой ею последовательностью, переносилась в другой, высший порядок представлений, и тогда они начинали говорить о всесветной славе Екатерины, о мировой роли России, о национальном достоинстве и народной гордости, об общем подъеме русского духа, и при этом речь их приподнималась и впадала в тон торжественных од екатерининского времени.

Они высказывали этот взгляд без доказательств, не как свое личное суждение, а как установившееся общепринятое мнение, которое некому оспаривать и не для чего доказывать. Очевидно, здесь читатель мемуаров имеет дело не с историческою критикой, а с общественною психологией, не размышлением, а с настроением. Люди судили о своем времени не по фактам окружавшей их действительности, а по своим чувствам, навеянным какими-то влияниями, шедшими поверх этой действительности. Они как будто испытали или узнали что-то такое новое, что мало подняло уровень их быта, но высоко приподняло их самосознание или самодовольство, и, довольные этим знанием и самими собой, они смотрели на свой низменный быт свысока, со снисходительным равнодушием. Их чувства и понятия стали выше их нравов и привычек; они просто выросли из своего быта, как дети вырастают из давно сшитого платья. Можно даже думать, что самый пессимизм людей, мрачно смотревших на царствование Екатерины, черпал долю своей силы в этом общем духовном подъеме, происшедшем в это же царствование, и без того не был бы столь взыскателен. Если это так, то Екатерине пришлось испытать приятное и почетное неудобство, какое испытывает хороший

преподаватель, который, чем успешнее преподает, тем более усиливает требовательность учеников и помогает им замечать еще не побежденные недостатки своего преподавания.

Впечатление – совместное дело обеих сторон: и источника влияния и среды, его воспринимающей. Победы и торжества, законы и учреждения, блеском которых была окружена Екатерина, конечно, должны были сильно действовать на умы. Но в этом окружении и сама власть принимала позу, в какую она не становилась прежде, являлась перед обществом с другою физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. Эта новая постановка власти усиливала и действие самой ее обстановки, создавала настроение, без которого все эти победы и торжества, законы и учреждения ее не произвели бы на общество такого сильного впечатления. С этой стороны впечатление царствования Екатерины – очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка.

Некоторые свойства характера Екатерины II и особенности ее политического воспитания имели первостепенное значение в этой новой постановке власти, как и в образовании впечатления, произведенного [ее] царствованием.

II

Достойно внимания, что люди, близко наблюдавшие Екатерину II, принимаясь разбирать ее характер, обыкновенно начинали с ее ума. Правда, в уме не отказывали ей даже ее недруги, кроме ее мужа, который, впрочем, и не считался компетентным экспертом в таком деле. Однако это не была самая яркая черта характера Екатерины: она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Конечно, такому «умнику», как ее ставленник король польский Станислав Понятовский, который не мог. агу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины II должен был казаться необъятной величиной. «Там очень умны, там, – писал он про Екатерину г-же Жоффрен, – но уж очень гоняются за умом». Последнее – напраслина на Екатерину и сказано по привычке судить о других по себе: кто гоняется за тем, чем уже владеет? Екатерина была просто умна и ничего более, если только это малость. У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, умный ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим. Екатерина умела быть умна кстати и в меру. Она, которой со всех сторон напевали в уши о ее великом уме, так простодушно признавалась доктору Циммерману на верху своей славы, что знала весьма много людей несравненно умнее ее. У нее вообще не было никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа. Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильное впечатление: памятливость, наблюдательность, догадливость, чутье положения, уменье быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение, выбрать тон, в случае надобности благоразумная мораль и умеренно согретое чувство – все эти мелкие пружины, из деятельности которых слагается ежедневная житейская работа ума, Екатерина умела приводить в движение легко и ежеминутно, когда бы это ни понадобилось, без заметного для зрителя усилия. Эта всегдашняя готовность к мобилизации сообщала Екатерине чрезвычайную живость без увлечения. Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил. Странническая молодость Екатерины, ранняя привычка жить среди чужих людей много содействовала этой, говоря языком старых учебников психологии, постоянной *самособранности*. Отсюда же ее находчивость в неожиданных затруднениях: ее трудно было застать врасплох, и при уменье собираться с мыслями она быстро соображала, чего от нее требует минута. Та же привычка жить не дома, сталкиваться с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, вместе с чутьем среды и положения рано развила в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью: я могу приноровляться ко всяким характерам, говорила она Храповицкому, уживусь, как Алкивиад, и в Спарте и в Афинах. Наблюдательность – на это дело больше охотников, чем мастеров. Екатерина достигла большого искусства в этом деле и выработала на то свои приемы. Она охотнее наблюдала людей, чем вещи, рассчитывая, что через знающих людей лучше узнает вещи, чем собственным изучением. Наперекор общей наклонности замечать чужие слабости, чтоб ими пользоваться, Екатерина думала, что если нуждаешься в других, то полезнее изучать их сильные стороны, на которые надежнее можно опереться. И она вслушивалась и всматривалась во всякого чем-нибудь выдающегося человека, изучала его мышление, знание, взгляды на людей и вещи. В обращении она не старалась блистать разговором, чтобы не мешать высказываться собеседнику. Зато в ней удивлялись искусству слушать, долго и терпеливо выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней; притом собеседника своего она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот. Так вместе со знанием людей Екатерина выработала себе и лучшее средство приобретать их – внимание к *человеку*, уменье входить в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли и невысказанные желания: вовремя дав собеседнику почувствовать, что и он сам и его слова

поняты в наилучшем для него смысле, она овладевала его доверием. В этом заключалась тайна неотразимого влияния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой, Екатерина умела своим восхитительным обращением производить на тех, кому хотела нравиться. Привычка слушать могла даже превращаться у нее в автоматическую манеру: слушая знакомую возвышенно-скучную трескотню какого-нибудь Бецкого, она сохраняла вид внимания, думая совсем о другом. И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела, от своей горничной Марьи Саввишны Перекусихиной до короля Фридриха II Великого. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать.

«Като (Cathos, как звали Екатерину в обществе Вольтера) лучше видеть издали», – писала Екатерина Гримму в 1778 г., прося его отговорить 80-летнего фернейского пустынника от непосильной для его лет поездки в С.-Петербург. Люди, близко видавшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в славолюбии, «в самолюбии до бесконечности», в тщеславии, любви к лести. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимала участие ее политическая судьба. Честолюбие и слава суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей, сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить за собой приобретенное положение. Эта необходимость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепленного самомнения. Екатерина знала, что самомнение, принимающее притязание за таланты, – лучшее средство стать смешным, а она больше всего боялась стать предметом смеха или сострадания, что было и небезопасно в ее положении. У нее было осмотрительное, даже мнительное самолюбие, заставлявшее ее соображать замыслы и притязания со средствами оправдать их. Она признавала необходимым иметь такие оправдательные средства, но была настолько уверена в себе, что надеялась всегда найти их, когда того потребует положение. Чтобы быть чем-нибудь на этом свете, пишет она, припоминая размышления своего детства, надобно иметь нужные для того качества; заглянем-ка хорошенько внутрь себя, имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разовьем их. При такой осмотрительности, находчивая и решительная в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнения.

В этой мнительности при постоянной заботе о мнении света, кажется, надобно искать и корни ее слабости к лести. Трудно подумать, чтобы при своей трезвой, положительной натуре, чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лесть просто за доставляемое ею чувство самодовольства и при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какое льстец имеет о своей жертве. Но, пробиваясь на простор из тесной доли, она смолоду научилась знать цену людскому мнению, и ее всегда страшно занимал вопрос, что о ней думают, какое производит она впечатление. Одобрительные отзывы были для нее что аплодисменты для дебютанта – возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их и считала своею обязанностью быть благодарной. Когда уволенный от должности Державин в 1789 г. поднес Екатерине чрез секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою «Фелицу», с каким удовольствием прочитала она секретарю стихи из этой оды: «Еще же говорят неложно,/ Что будто завсегда возможно/ Тебе и правду говорить», – и сказала Храповицкому: «On peut lui trouver une plac». Ее недостаток был в том, что наемное усердие клакеров она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лестью, когда подозревала в ней неискренность. Вольтер, один из самых усердных, но не самый ловкий из ее льстецов, не раз получал от нее почтительные и нежные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панегирики вошли

в состав придворного и правительственного этикета: Екатерине жужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах, директор кадетского корпуса Бецкий – на кадетских представлениях Чесменского боя, директор театра Елагин – на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или Морейской экспедиции, генерал-прокурор князь Вяземский – в сенатских докладах и финансовых отчетах. Екатерина привычным слухом внимала всему этому песнопению как выражению обязательного усердия по долгу службы и присяги и, только когда певцы славы начинали уж слишком больно резать ухо фальцетом от избытка усердия, обращалась к окружающим со стыдливой оговоркой: «Il me loue tant, quenfin il me gtera». Она любила почтительное отношение к себе, и когда император Иосиф II, в котором она видела только немощь физическую и духовную, в 1780 г. приехал к ней на поклон в Могилев, то стал и человеком очень образованным, и «головой, самой основательной, самой глубокой, самой просвещенной, какую я знаю», хотя она и подшучивала язвительно над панихидой, отслуженной им в Петербурге за упокой души Вольтера из уважения к его набожной ученице. Но, когда И. И. Шувалов, возвратясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского и вполне довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством. Не видать также, чтоб она сердилась на своего заграничного корреспондента Гримма, который в шутливом письме приписал ей на 52-м году жизни «наружность матери амуров». Но тому же Гримму она признавалась, что на нее благотворно действовали не похвалы, а злословие, побуждавшее ее отметить ему, делами доказать его лживость.

С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивною женщиной всех времен, привычка к удаче сделала ее несколько самонадеянной и очень обидчивой. Она раздражалась не только порицанием ее действий, но и мнениями, с которыми была несогласна. Это нередко вводило ее впросак и в противоречие с собой. Это был смелый шаг. ее стороны – во французском переводе представить вниманию французского общества свой «Наказ», наполненный выписками из книг, и без того хорошо там известных. Но французских экономистов с Тюрго во главе за то, что они осмелились разбирать «Наказ» и даже прислать ей этот разбор, она обозвала дураками, сектой, вредной для государства. Она не могла простить Рейналю его отзыва, что ей ничего не удается, и называла его ничего не стоящим писателем. Даже свой вкус она считала обязательным для других и за это раз была наказана своим главным кухмистером Барманом. Екатерина любила архитектуру, живопись, театр, скульптуру, но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая и смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы, и выписанный из Италии маэстро Паизиелло веселил ее на ее эрмитажном театре оперой «Le philosophe ridicule», где, по ее словам, морила ее до упаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла посещать эту оперу даже святейший синод, который, по ее словам, «также смеялся до слез вместе с нами». Она вообще любила веселый репертуар и раз за обедом спросила Бармана, нравится ли ему «Die schone Wienerin», фарс, особенно ее увлекавший. «Да бог. нает, оно как-то грубо», – отвечал простодушно несообразительный кухмистер. Екатерина вспыхнула и едва ли удачно поправила положение, заметив в тоне той же schone Wienerin: «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистера был такой же тонкий вкус (разумеется, кухонный), как тонки его понятия».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.